



КЛАССИ-  
ЧЕСКАЯ  
И  
СОВРЕ-  
МЕННАЯ  
ПРОЗА



Пелам Гренвилл

# ВУДХАУС

Мистер Муллинер  
рассказывает

рассказы

*Мистер Муллинер  
рассказывает*

**Пелам Гренвилл Вудхаус**  
**Мистер Муллинер**  
**рассказывает**  
Серия «Мистер Муллинер»

*Текст предоставлен правообладателем.*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=4522093](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4522093)*

*Вудхаус, П.Г. Вся правда о Муллинерах: Знакомьтесь: мистер Муллинер. Мистер Муллинер рассказывает. Вечера с мистером*

*Муллинером: Астрель, АСТ; Москва; 2011*

*ISBN 978-5-17-069224-8, 978-5-271-31571-8*

*Оригинал: Pelham Grenville Wodehouse, "MR. MULLINER SPEAKING"*

*Перевод:*

*Ирина Гавриловна Гурова*

### **Аннотация**

Сборник «Мистер Муллинер рассказывает» гостеприимно раскрывает перед читателем свои страницы, приглашая провести несколько приятных часов у камина в зале «Отдыха удильщика» в компании мистера Муллинера, развлекающего публику смешными историями. Неистощимое остроумие, изобретательность и находчивость Муллинеров поднимет настроение даже самому заядлому пессимисту, и, возможно, девиз знаменитого семейства «Муллинеров можно озадачить, но не загнать в угол» читатель начертает и на своем щите.

# Содержание

Благоговейное ухаживание Арчибальда	4
Человек, который бросил курить	33
История Седрика	66
Конец ознакомительного фрагмента.	74

# Пелам Гренвилл Вудхаус Мистер Муллинер рассказывает

## Благоговейное ухаживание Арчибальда

Беседа в зале «Отдыха удильщика», ближе к закрытию обычно касающаяся наиболее глубоких предметов, затронула тему Современной Девушки, и Джин С Имбирем, сидевший в углу у окна, указал на странность того, как одни типы исчезают, сменяясь другими.

– Я еще помню времена, – сказал Джин С Имбирем, – когда каждая вторая встречная девушка была ростом футов шести с гаком, стоило ей надеть бальные туфли, а уж изгибами фигуры не уступала русским горкам. Теперь же они все едва до пяти футов дотягивают, а поглядеть сбоку, так их вообще не видно. Это как же получается?

Пиво Из Бочки покачал головой:

– Никому не известно. Вот и с собаками так. То мир кишит мопсами, куда ни кинь взгляд, а секунду спустя ни единого мопса, одни пекинесы и овчарки. Чудно!

Кружка Портера и Двойное Виски С Содовой признали, что сие окутано мраком неизвестности и останется тайной навеки. Не исключено, что нам этого знать просто-напросто не положено.

– Не могу согласиться с вами, джентльмены, – сказал мистер Муллинер. Он рассеянно прихлебывал свое горячее виски с лимонным соком, но теперь встрепнулся и выпрямился, готовый вынести вердикт. – Причина исчезновения девушек величественного сложения и царственного обличья вполне очевидна. Таким способом Природа обеспечивает продолжение рода. Мир, полный девиц наподобие тех, которых Мередит помещал в свои романы, а Дюморье в свои рисунки на страницах «Панча», был бы миром, полным закоренелых старых дев. Нынешние молодые люди никогда не собрались бы с духом предложить им руку и сердце.

– Оно пожалуй, – согласился Пиво Из Бочки.

– У меня есть основания для подобного вывода, – сказал мистер Муллинер, – поскольку мой племянник Арчибальд сделал меня своим наперсником, когда влюбился в Аврелию Кэммерли. Он обожал эту девушку с пылом, который грозил помрачить его рассудок, каким бы этот рассудок ни был. Но самая мысль о том, чтобы сделать ей предложение, сообщил он мне, ввергала его в такое обморочное состояние, что лишь коньяк с содовой или сходное тонизирующее средство было способно привести его в чувство в те моменты, когда указанная мысль приходила ему в голову. Если бы не... Од-

нако, быть может, вы предпочитаете выслушать эту историю с самого начала?

Люди, лишь поверхностно знавшие моего племянника Арчибальда (продолжал мистер Муллинер), были склонны считать его заурядным безмозглым молодым человеком. И, лишь узнав его поближе, они обнаруживали свою ошибку. Они начинали понимать, что безмозглость его была вовсе не заурядной, а, наоборот, исключительной. Даже в клубе «Трутни», где средний интеллектуальный уровень отнюдь не высок, часто можно было услышать, что служи Арчибальду мозгом моток шелка, так его не хватило бы и на гарнитур нижнего белья для канарейки. Он с веселой беззаботностью небрежно шагал по жизни и до двадцати пяти лет всего лишь раз испытал могучее всепоглощающее чувство – когда, шествуя по Бонд-стрит в разгар лондонского сезона, вдруг обнаружил, что Медоуз, его камердинер, по небрежности отправил его на прогулку в гетрах из разных пар.

А потом он встретил Аврелию Кэммерли.

Их первая встреча, как мне всегда казалось, обладает поразительным сходством с прославленной встречей поэта Данте и Беатриче Фортинари. Данте, если вы помните, тогда не обменялся с Беатриче ни единым словом. Как и Арчибальд с Аврелией. Данте просто выпучился на девушку. Так же поступил и Арчибальд. Как и мой племянник, Данте влю-

бился с первого взгляда, а было поэту в то время, насколько нам известно, ровно девять лет от роду – что практически соответствует умственному развитию Арчибальда Муллинера, когда он впервые направил свой монокль на Аврелию Кэммерли.

Только место знаменательной встречи нарушает параллель этих двух случаев. Данте, как гласит предание, шел по Понте-Веккио, тогда как Арчибальд Муллинер задумчиво потягивал коктейль в эркере клуба «Трутни», выходящем на Дувр-стрит.

И только он расслабил нижнюю челюсть, чтобы созерцать Дувр-стрит с наибольшими удобствами, как вдруг в поле его зрения всплыло нечто подобное греческой богине. Она вышла из магазина напротив клуба и остановилась на тротуаре в ожидании такси. И когда он увидел ее, любовь с первого взгляда поразила Арчибальда Муллинера, будто крапивница.

Непонятно, что послужило тому причиной, ибо она была совершенно не похожа на девушек, в которых Арчибальду прежде приходилось влюбляться с первого взгляда. Когда я был тут на днях, мне в руки попал роман полувековой давности, собственность, как мне кажется, мисс Постлетуэйт, нашей любезной и эрудированной буфетчицы. Озаглавлен он был «Тайна сэра Ральфа», и героиня, леди Элейн, описывалась как изумительная красавица, высокая, с благородной осанкой, орлиным носом, надменными глазами под

тонко вырисованными бровями и той неприступной аристократичностью, которая выдает дочь сотни графов. Аврелия Кэммерли могла быть двойником этой внушительной особы.

Тем не менее Арчибальд, едва узрев ее, зашатался, будто только что допитый коктейль был десятым, а не первым.

– Ого-го! – сказал Арчибальд.

Чтобы не упасть, он ухватился за проходившего мимо соклубника и, рассмотрев свою поимку, узнал юного Алджи Уимондема-Уимондема. Именно за такого соклубника он предпочел бы ухватиться, будь у него выбор, ибо Алджи принадлежал к тем людям, которые бывают всюду и знают всех, а потому, без сомнения, мог снабдить Арчибальда всеми необходимыми сведениями.

– Алджи, старина, – сказал Арчибальд тихим голосом, – минутку твоего драгоценного времени, если ты не против.

Он замолчал, так как сообразил, что следует соблюдать осторожность. Алджи был болтун из болтунов, и было бы верхом опрометчивости даже намекнуть ему на страсть, которая вспылала в его, Арчибальда, груди. Неимоверным усилием воли он надел маску и заговорил с обманчивой небрежностью:

– Я просто подумал, не знаешь ли ты, кто эта девушка, вон там, на той стороне улицы. Может, знаешь, как ее зовут, ну хотя бы приблизительно? По-моему, я где-то познакомился с ней или что-то вроде, если ты меня понимаешь.

Алджи проследил взглядом за его указующим перстом

как раз вовремя, чтобы увидеть скрывающуюся в такси Аврелию.

– Ты про эту?

– Угу, – сказал Арчибальд, позевывая. – Кто она и вообще?

– Девица по фамилии Кэммерли.

– А? – сказал Арчибальд с новым зевком. – Значит, я с ней не знаком.

– Представлю тебя, если хочешь. Она наверняка будет на Аскотских скачках. Поищи нас там.

Арчибальд зевнул в третий раз.

– Ладно, – сказал он, – если не забуду. Расскажи мне про нее. Ну там, есть у нее какие-нибудь отцы или матери и всякое такое прочее?

– Только тетка. Она живет у нее на Парк-стрит. Она с приветом.

Арчибальд вздрогнул, уязвленный до глубины души.

– С приветом? Эта божественная... я хочу сказать, эта довольно привлекательная на вид девушка?

– Да не Аврелия. Тетка. Она думает, что Бэкон написал Шекспира.

– Думает, кто написал что? – спросил сбитый с толку Арчибальд, ибо имена эти ничего ему не говорили.

– Про Шекспира ты, конечно, слышал. Он довольно известен. Пописывал пьески. Только тетка Аврелии говорит, что вовсе нет. Стоит на том, что типчик по фамилии Бэкон пи-

сал их за него.

– Очень любезно с его стороны, – одобрительно сказал Арчибальд. – Хотя, конечно, он мог задолжать Шекспиру деньги.

– Не исключено.

– Так как его там?

– Бэкон.

– Бэкон, – повторил Арчибальд, записывая на манжете. – Так-так.

Алджи пошел своей дорогой, а Арчибальд, чья душа бурлила и пузырилась, как доведенный до кипения расплавленный сыр, рухнул в кресло и незряче уставился на потолок. Потом, поднявшись на ноги, он направился в Берлингтонский пассаж купить носки.

Процесс покупки носков на время умерил буйство крови в жилах Арчибальда. Но даже носки со стрелкой цвета лаванды способны лишь дать облегчение, но не исцелить. Вернувшись домой, он ощутил муку, усиленную вдвойне. Ибо наконец-то у него было время поразмыслить, а от мыслей голова у Арчибальда всегда разбалчивалась.

Небрежные слова Алджи подтвердили наихудшие его подозрения. Девушка, чья тетка знает все про Шекспира и Бэкона, по необходимости живет в интеллектуальной атмосфере, в которой слабой на головку птахе вроде него никак не воспарить. Даже если он с ней познакомится, даже если она пригласит его бывать у них, даже если со временем отно-

шения между ними станут самыми сердечными – что тогда? Как смеет он даже мечтать о такой богине? Что он может ей предложить?

Деньги?

Да, и много. Но что такое деньги?

Носки?

Да, у него лучшая коллекция носков в Лондоне, но носки – это еще не все.

Любящее сердце?

Но что от него проку?

Нет, такая девушка, как Аврелия Кэммерли, чувствовал он, потребует от претендента на ее руку чего-нибудь вроде дарования, редкого таланта. Он должен быть Человеком, Способным На Многое.

А на что, спросил себя Арчибальд, способен он? Да абсолютно ни на что, исключая имитацию курицы, снесшей яйцо.

Вот на это он способен. И еще как! В имитации курицы, снесшей яйцо, он был признанным мастером. В этом – и только в этом – отношении его слава гремела по всему лондонскому Уэст-Энду. «Другие ждут вопросов наших, ты ж свободен». Этот вердикт, который поэт Мэтью Арнольд вынес Шекспиру, позолоченная лондонская молодежь вынесла бы Арчибальду Муллинеру, если рассматривать его исключительно как человека, способного имитировать курицу, снесшую яйцо. «Муллинер, – говорили они друг другу, – может быть, во многих отношениях и отрицательная величина,

но он умеет имитировать курицу, снесшую яйцо».

Однако как подсказывала ему логика, этот дар не только не принесет ему пользы, но, наоборот, явится серьезнейшей помехой. У девушки, подобной Аврелии Кэммерли, столь вульгарное шутовство вызовет лишь брезгливое отвращение. Он залился краской при одной мысли, что она может когда-нибудь узнать всю глубину его падения.

И потому, когда несколько недель спустя их познакомили на Аскотских скачках и она, глядя на него с презрительным отвращением, как показалось его чутко настроенной душе, сказала: «Мне говорили, вы имитируете курицу, снесшую яйцо, мистер Муллинер?» – он ответил со жгучим негодованием: «Это ложь, гнусная и омерзительная ложь, источник которой я выслежу и разоблачу перед всем светом».

Мужественные слова! Но достигли ли они цели? Поверила ли она ему? Он надеялся, что да, но ее надменные глаза словно сверлили его. Словно добирались до самых глубин его души и обнажали ее – душу имитатора кур.

Тем не менее она пригласила его бывать у них. С эдаким царственным скучающим пренебрежением – и только после того, как он дважды попросил у нее разрешения на это. Но как бы то ни было, она его пригласила! И Арчибальд героически решил, что, какого бы изнуряющего умственного напряжения это ни потребовало, он покажет ей, сколь ошибочным было ее первое впечатление: пусть он и кажется глупым и пошлым, но в его натуре откроются глубины, о существо-

вании которых она и не подозревала.

Для молодого человека, в свое время исключенного из Итона как переросток и верящего всему, что он читал в колонке Знатока Скачек утренней газеты, Арчибальд, должен я признать, проявил в столь критическом положении сообразительность, какой никто из знавших его близко от него никак не ожидал. Возможно, любовь стимулирует ум, но, возможно, наступает момент, когда Кровь дает о себе знать. А Арчибальд, вы, конечно, помните, в конце-то концов был Муллинером, и муллинеровская сметка взыграла в нем.

– Медоуз, любезный мой, – сказал он Медоузу, своему любезному камердинеру.

– Сэр? – сказал Медоуз.

– Вроде бы, – сказал Арчибальд, – имеется... или имелся типус по фамилии Шекспир. И еще один типус по фамилии Бэкон. Бэкон вроде бы пописывал пьесы, а Шекспир ставил на программке свою фамилию и присваивал себе все права.

– Неужели, сэр?

– Если правда, так это же нехорошо, Медоуз.

– И весьма, сэр.

– Значит, вот так. Я хочу внимательно разобраться в этом деле. Будьте добры, смотайтесь в библиотеку и возьмите для меня пару книг про все про это.

Арчибальд спланировал свою кампанию с величайшей хитростью. Он знал, что приступить к завоеванию сердца

Аврелии Кэммерли он сможет, только утвердившись в добром мнении ее тетки. Ему придется обхаживать тетку, всячески ее умасливать (разумеется, с самого начала дав ясно понять, что его избранница – не она). И если для достижения цели необходимо почитать про Шекспира и Бэкона, то, сказал он себе, не пройдет и недели, как тетка будет есть у него из рук.

Медоуз вернулся с пачкой зловещего вида томов, и Арчибалд две недели лихорадочно их штудировал. Затем, расставшись с моноклем, который до этой минуты был его неизменным и верным спутником, он заменил его парой очков в роговой оправе, придававших ему сходство с ученой овцой, и отправился в дом на Парк-стрит нанести свой первый визит. Через пять минут после своего водворения в гостиной он отказался от сигареты, заявив, что не курит, и сумел отпустить несколько едких замечаний о вреднейшей привычке хлебать коктейли, свойственной подавляющему большинству представителей его поколения.

– Жизнь, – сказал Арчибалд, поигрывая своей чайной чашкой, – разумеется, дается нам для более возвышенных целей, чем разрушать наш мозг и пищеварение при помощи алкоголя. Бэкон, например, ни разу в жизни не выпил ни единого коктейля, а посмотрите на него!

Тут тетка, которая до этой минуты явно считала его еще одной неприятной случайностью, которыми так богата жизнь, мгновенно ожила.

– Вы преклоняетесь перед Бэконом, мистер Муллинер? – жадно осведомилась она. И, протянув руку, будто щупальце осьминога, утащила его в угол и сорок семь минут – по часам на каминной полке – рассуждала о криптограммах. Коротче говоря и подводя итоги, при этой первой встрече с единственной родственницей любимой девушки мой племянник Арчибальд смел перед собой все преграды, будто сирокко. Муллинер – всегда Муллинер, проверяйте хоть соляной кислотой, хоть серной.

Вскоре он сообщил мне, что посеял доброе семя настолько удачно, что тетка Аврелии пригласила его погостить подольше в ее загородном доме «Бростедские башни» в Суссексе.

Сообщил он мне это в баре «Савойя», лихорадочно приканчивая стакан виски с содовой. И я с недоумением заметил, что лицо у него осунулось, а глаза совсем измучены.

– Но ты не кажешься счастливым, мой мальчик.

– А я и не счастлив.

– Но это же причина, чтобы радоваться! Оказавшись с ней в уютной обстановке загородного дома, ты легко найдешь удобный случай предложить этой девушке выйти за тебя замуж.

– А толку? – угрюмо сказал Арчибальд. – Даже выпави мне такой случай, воспользоваться им я не смогу, духа не хватит. Вы, кажется, не понимаете, что такое быть влюбленным в девушку вроде Аврелии. Когда я гляжу в эти чистые

одухотворенные глаза или вижу идеальный профиль, маячащий на фоне горизонта, ощущение моей недостойности бьет мне в ребра, будто какое-то тупое орудие. Язык застревает в зубах, и я ощущаю себя куском овечьего сыра, забракованного местным санитарным инспектором. Я еду в «Бростедские башни», еду, но не жду, что из этого хоть что-нибудь получится. Я точно знаю свое будущее: прожужжу по жизни, безмолвно тоскую, а в конце соскользну в могилу несчастным холостяком. Еще виски, пожалуйста, и, само собой, двойное.

«Бростедские башни» расположены в приятнейшей местности Суссекса милях в пятидесяти от Лондона, и Арчибальд, легко преодолев это расстояние в своем автомобиле, прибыл туда достаточно рано, чтобы спокойно переодеться к обеду. И, только добравшись до гостиной в восемь часов, узнал, что молодые гости всем скопом отправились на обед и танцы к радушному соседу, предоставив Арчибальду бессмысленно потратить на тетку Аврелии сногшибательный галстук, который он завязывал целых двадцать две минуты.

При таких обстоятельствах нельзя было особенно надеяться, что обед окажется безоблачно бодрящей трапезой. Среди признаков, позволявших отличить его от вавилонской оргии, был и тот факт, что Арчибальду из уважения к его принципам не наливали вина. А без этого стимулирующего средства философски переносить общество тетки оказалось даже труднее обычного.

Арчибальд уже давно пришел к твердому выводу, что эта женщина нуждается в унции растворенного гербицида, введенного в ее организм по всем правилам, диктуемым наукой. С немалой ловкостью он на протяжении обеда уводил ее от любимой темы, но, когда кофе был допит, ей уже не было удержу. Схватив Арчибальда и утащив его в недра западного крыла дома, тетка затолкала гостя в угол дивана и принялась рассказывать ему о поразительном открытии, которое было сделано с применением Простого Шифра к знаменитой «Эпитафии Шекспиру» Мильтона.

– Той, которая начинается: «Нуждается ли, мой Шекспир, твой прах в гробнице, что прославится в веках?», – сказала тетка.

– Ах той! – сказал Арчибальд.

– «Нуждается ли, мой Шекспир, твой прах в гробнице, что прославится в веках? Иль должен гроб священный быть укрыт под дивнейшей из звездных пирамид?» – сказала тетка.

Арчибальд, который был не силен в отгадывании загадок, ответил, что не знает.

– Как и с пьесами и с сонетами, – сказала тетка, – мы заменяем имена эквивалентами итоговых чисел.

– Мы – что?

– Заменяем имена эквивалентами итоговых чисел.

– Чего-чего?

– Итоговых чисел.

– Ладненко, – сказал Арчибальд. – Пусть так. Полагаю, вам виднее.

Тетка набрала воздуха в легкие.

– Эти итоговые числа, – сказала она, – всегда даются Простым Шифром от А, равного единице, до Z, равного двадцати четырем. Имена считаются тем же способом. Заглавная буква с числом указывает на случайные вариации в Счете Имен. Например, А равно двадцати семи, В – двадцати восьми, пока не доходим до К, равного десяти, когда К вместо десяти становится единицей, а Т обращается в единицу вместо девятнадцати и так далее, пока не будет достигнуто положение, при котором А равняется двадцати четырем. Если читать «Эпитафию» в свете этого шифра, получаем: «Нуждается ли Верулам<sup>1</sup> в Шекспире? Фрэнсис Бэкон король Англии укрыт под У. Шекспиром? Уильям Шекспир. Слава, что нужно Фрэнсису Тюдору, королю Англии? Фрэнсис. Фрэнсис У. Шекспир. За Фрэнсиса твой Уильям Шекспир король Англии взял У. Шекспира. Тогда ты наш У. Шекспир Фрэнсис Бэкон Тюдор лишенный Фрэнсиса Бэкона Фрэнсиса Тюдора такая гробница Уильям Шекспир».

Речь, которую он выслушал, была для бэкониианки на редкость ясной и простой, и тем не менее Арчибальд, чей взгляд упал на боевой топор, украшавший стену, с трудом подавил вздох несбыточного желаяния. Как было бы легко, не будь он Муллинером и джентльменом, снять оружие с крюка, попле-

---

<sup>1</sup> Фрэнсис Бэкон имел титул барона Веруламского.

вать на ладони, размахнуться и врубить этой дряхлой развалине по шее прямо над ниткой фальшивого жемчуга. Усевшись на свои чешущиеся руки, он не вставал с места до тех пор, пока под звон часов, отбивающих полночь на каминной полке, у его хозяйки не начался приступ икоты, позволивший ему удалиться ко сну. На двадцать седьмом «ик!» пальцы Арчибальда сомкнулись на дверной ручке, и секунду спустя он уже молнией мчался вверх по лестнице.

Отведенная Арчибальду комната находилась в конце коридора – уютный просторный апартамент со стеклянными дверями на широкий балкон. В любое другое время он с наслаждением выскочил бы на этот балкон и упился бы ароматами и звуками летней ночи, предаваясь долгим неторопливым мыслям об Аврелии. Но со всем этим «Фрэнсис Тюдор Фрэнсис Бэкон гробница Уильям Шекспир семнадцать петель распустить и повести в другом направлении» даже мысли об Аврелии не встали преградой между ним и кроватью.

Мрачно сорвав с себя одежды и облачась в пижаму, Арчибальд Муллинер забрался в постель и тут же обнаружил, что она с начинкой. Как и когда это произошло, он не знал, но в какой-то момент в течение дня чья-то любящая рука зашила простыни, положив между ними две щетки для волос и ветку какого-то колючего куста.

Став признанным мастером по изготовлению подобных веселых ловушек еще в самые нежные годы, Арчибальд, будь

его настроение чуть солнечнее, без сомнения, приветствовал бы такое бесспорно выдающееся достижение веселым одобрительным смехом. Теперь же под гнетом Веруламов и Фрэнсисов Тюдоров он некоторое время весьма энергично изрыгал ругательства, а потом, сорвав простыни и небрежно швырнув колючую ветвь в угол, забрался под одеяло и вскоре заснул.

Его последняя связная мысль сводилась к следующему: если тетка надеется изловить его и завтра, то отсюда неминуемо следует, что она бежит кросс заметно быстрее, чем это позволяет предположить ее телосложение.

Как долго Арчибальд Муллинер спал, ему осталось неизвестно. Он проснулся через несколько часов со смутным ощущением, что где-то совсем рядом разразилась гроза редкой силы. Но когда туманы сна порассеялись, он понял, что ошибся. Разбудивший его рокот был не громом, а чьим-то храпом. Храпом чертовски оглушительным. Стены, казалось, вибрировали, будто палуба океанского лайнера.

Пусть Арчибальд Муллинер и провел тяжкий вечер с теткой, однако дух его был не настолько сломлен, чтобы он покорно смирился с подобным храпом и даже не оторвал головы от подушки. Звук этот преисполнил его, как звук храпа преисполняет любого добропорядочного человека, бешеным негодованием, страстной жадой справедливости, и Арчибальд выбрался из-под одеяла с намерением предпринять надлежащие шаги, использовав приличествующие моменту

каналы. В наши дни принято критически относиться к воспитательным методам английских аристократических школ и утверждать, что они непрактичны и не готовят своих воспитанников к разрешению проблем, которые подстерегают их в широком мире. Но одно в такой школе подрастающий воспитанник, во всяком случае, усваивает. А именно: как следует поступить, когда кто-нибудь принимается храпеть.

Ты просто-напросто хватаешь мыло и запихиваешь его в глотку храпуна.

Именно это – с Божьей помощью – намеревался сделать Арчибальд. Во мгновение ока он достиг умывальника и вооружился. Потом бесшумно выскользнул через стеклянную дверь на балкон.

Храп, как он предварительно убедился, исходил из соседней комнаты. Логика подсказывала, что и это помещение должно быть снабжено стеклянными дверями, ведущими на балкон. А также что двери эти должны быть открыты, поскольку ночь выдалась теплой. Просочиться туда, ввести мыло и упорхнуть незамеченным не составит ни малейшего труда.

Ночь была чудесной, но Арчибальд не обратил на это обстоятельство ни малейшего внимания. Сжимая мыло, он бесшумно прокрался вперед и, достигнув внешней стены комнаты храпуна, с удовольствием убедился, что не ошибся в своих выводах. Двери были распахнуты. За ними, скрывая интерьер, висели тяжелые портьеры. Арчибальд как раз кос-

нулся одной из них, когда из комнаты раздался голос. И в тот же миг вспыхнул свет.

– Кто тут? – осведомился голос.

И «Бростедские башни» со всеми их конюшнями, прочими службами и хозяйственными постройками словно рухнули на голову Арчибальда. Мгла затуманила его глаза. Он ахнул и зашатался.

Голос принадлежал Аврелии Кэммерли.

На мгновение, на единое бесконечное мучительное мгновение, вынужден я сообщить, любовь Арчибальда, хотя и равнялась глубиной своей океану, явно повисла на волоске. Она получила сокрушительный удар. Его потрясло не просто открытие, что обожаемая девушка храпит, но то, что она выпускает подобный храп. Было в этом храпе нечто, несомненно и определенно идущее в разрез с его представлениями о женственности и чистоте.

Но он тут же опомнился. Пусть сон этой девушки не был «воздушно легок», как столь проникновенно выразился поэт Мильтон, а более напоминал лесопильню в час, когда распиловка бревен производилась с максимальной интенсивностью, Арчибальд все равно любил ее.

Он пришел к этому заключению как раз в тот момент, когда в комнате прозвучал второй голос:

– Знаешь что, Аврелия...

Это был голос другой девушки, и Арчибальд понял, что

вопрос «кто тут?» адресовался не ему, а той, которая дергала дверную ручку.

– Знаешь что, Аврелия, – сварливо сказала новоприбывшая, – ты просто обязана что-то сделать со своим беспардонным бульдогом. Я глаз не сомкну, пока он так храпит. От этого храпа у меня в комнате штукатурка сыплется с потолка.

– Извини, – сказала Аврелия. – Я так с ним свыклась, что уже не замечаю.

– А я так очень даже замечаю. Накрой его суконкой, придумай что-нибудь.

Снаружи, на залитом лунным светом балконе, Арчибалд Муллинер содрогался, как желе. Хотя он умудрился сохранить свою великую любовь практически без единой трещины, допустив, что храп исходит от обожаемой им девушки, далось это ему нелегко, и, как я упоминал, в какой-то миг его чувство могло претерпеть радикальное изменение. Облегчение, охватившее Арчибалда, едва выяснилось, что Аврелия по праву может оставаться на своем пьедестале, было столь велико, что у него подкосились ноги. На секунду он словно впал в небытие, но затем услышал свое имя и очнулся от действия хлороформа.

– Арчи Муллинер приехал? – осведомилась подруга Аврелии.

– Наверное, – сказала Аврелия. – Он протелеграфировал, что прибудет на автомобиле.

– Между нами, девочками, говоря, – сказала подруга, –

что ты думаешь об этом типчике?

Подслушивать частные разговоры – и тем более разговоры между двумя современными девушками, когда неизвестно, что можно услышать дальше, – это поступок, который справедливо считается несовместимым со статусом джентльмена. А потому я с большим сожалением должен сообщить, что Арчибалд, игнорируя свою принадлежность к семье, чей кодекс чести не уступает самым высоким в стране, отнюдь не удалился тихонько в свою комнату, а, наоборот, прокрался поближе к портьеру и застыл там, растопырив уши. Пусть подслушивать неблагородно, но ведь Аврелия Кэмерли, несомненно, собиралась высказать свое откровенное мнение о нем, и надежда услышать истинные факты непосредственно, так сказать, из первых уст настолько его заворожила, что он не мог сдвинуться с места.

– Арчи Муллинер? – задумчиво повторила Аврелия.

– Ну да. В «Губной помаде» ставят семь против двух, что ты выйдешь за него.

– С какой стати?

– Ну, ведь люди замечают, что он все время торчит у вас в доме, и делают из этого свои выводы. Во всяком случае, когда я уезжала из Лондона, ставки были именно такими. Семь против двух.

– Ставь против, – убежденно посоветовала Аврелия, – и сорвешь куш.

– Это официально?

– Абсолютно.

Снаружи, обливаемый лунным светом, Арчибальд Муллинер испустил тоскливый стон, будто последний вздох, вырвавшийся у агонизирующей утки. Правда, он все время твердил себе, что у него нет никаких шансов, однако, сколько бы влюбленный ни повторял это, в глубине души он думает как раз наоборот. И теперь из авторитетнейшего источника он узнает, что его любовь вот-вот накроется. Это был сокрушительный удар. Арчибальд смутно прикинул, откуда поезда ходят в Скалистые горы. Видимо, наступило самое время отправиться пострелять гризли.

А в комнате другая девушка, казалось, недоумевала.

– Но ты же сказала мне на Аскотских скачках, – напомнила она, – сразу после того, как вас познакомили, что ты вроде бы наконец-то повстречала свой идеал. Когда же все пошло наперекосяк?

Из-за портьеры донесся чистый музыкальный звук – Арчибальд вздохнул.

– Да, так мне тогда показалось, – печально сказала Аврелия. – Что-то в нем было такое. Мне понравилось, как у него шевелятся уши. И я наслышана, какой он свой в доску, веселый бодрый старикан. Алджи Уимондем-Уимондем заверил меня, что одной его имитации курицы, снесшей яйцо, вполне достаточно, чтобы сделать счастливой до конца дней любую разумную девушку.

– Он и вправду умеет имитировать курицу?

– Да нет. Пустые слухи. Я спросила его, а он упорно отрицал, что когда-либо занимался подобным делом. И так чопорно! Я насторожилась, а когда он начал являться в дом и торчать там, я убедилась, что страхи были не напрасны. Он, без всяких сомнений, дырявая покрывка и мокрая тряпка.

– Даже так?

– Я нисколько не преувеличиваю. Понять не могу, откуда люди взяли, будто Арчи Муллинер – самый-самый. Такого сверхзануду днем с огнем не найти. Коктейли не пьет, не курит, и больше всего ему вроде бы нравится сидеть и часами слушать разглагольствования моей тетки, которая, ты сама знаешь, совсем чокнутая от подошв до черепахового гребня, и ей давно пора переселиться в уютную, обитую матрасами комнатку в Эрлсвудской психушке. Мюриэль, честное слово, если ты правда можешь поставить семь против двух, то такого верняка еще никому не подвертывалось с того дня, когда Лютик выиграл Линкольнширские скачки.

– Что ты говоришь!

– То и говорю. Помимо всего прочего, у него есть еще омерзительная манера взирать на меня с благоговением. Если бы ты знала, до чего меня тошнит от благоговейных взоров! А они только на это и способны, идиоты! Думаю, это потому, что я скроена в стиле Клеопатры.

– Плохо твое дело.

– Не то слово! Девушка же не виновата в своей внешности. Пусть я произвожу впечатление, будто мой идеал – герой

венской оперетты, но это вовсе не так. Мне нужен бодрый, энергичный весельчак, который умеет выкинуть что-нибудь из ряда вон, разыграть кого-нибудь, который заключит меня в объятия и скажет: «Аврелия, старушенция, ты самое-рас-самое оно».

И Аврелия Кэммерли испустила еще один вздох.

– Кстати о розыгрыше, – сказала подруга. – Если Арчи Муллинер приехал, то он в соседней комнате, так?

– Наверное. Во всяком случае, ее отвели ему. А что?

– А то, что я устроила ему постель с начинкой.

– Отличная мысль, – горячо одобрила Аврелия. – Жаль, что я первая не сообразила.

– Теперь уже поздно.

– Пожалуй, – сказала Аврелия. – Но я скажу тебе, что я могу сделать и сделаю. Тебя раздражает храп Лизандра. Так вот, я пойду и засуну его в балконную дверь Арчи Муллинера. Это даст ему пищу для размышлений.

– Чудненько, – согласилась девушка Мюриэль. – Что ж, спокойной ночи.

– Спокойной ночи, – сказала Аврелия.

Затем послышался стук закрывшейся двери.

Как я дал понять, ума у моего племянника Муллинера было маловато, но теперь тот, что имелся в наличии, пошел кругом вместе с головой. Он был ошарашен. Как у всякого, кто внезапно оказывается перед необходимостью пересмот-

реть всю шкалу своих ценностей, у него возникло ощущение, что он стоял на верхушке Эйфелевой башни и какой-то остряк выдернул ее у него из-под ног. Пошатываясь, он вернулся в свою комнату, вернул мыло в мыльницу и сел на кровать, чтобы осмыслить столь поразительный поворот событий.

Аврелия Кэммерли уподобила себя Клеопатре. Не будет преувеличением сказать, что в этот момент мой племянник Арчибальд был охвачен примерно такими же эмоциями, какие ощутил бы Марк Антоний, если бы при его появлении египетская царица поднялась с трона и без предупреждения стала отплясывать канкан.

Из задумчивости его вывел звук легких шагов на балконе. В тот же миг он услышал тихое пыхтящее порывивание, которое может издавать только бульдог, ведущий правильный образ жизни, если его ни свет ни заря вытащили из спальной корзины и вынудили подышать ночным воздухом.

То она – о, мой ангел, мой свет,  
В мире воздушней шагов ее нет,  
И откликнется сердце мое хоть во сне,  
Хоть среди горных вершин, хоть в морской глубине.

Такие слова или что-то в этом роде шептала душа Арчибальда. Он поднялся на ноги и несколько секунд простоял в нерешительности. И тут на него снизошло озарение. Он понял, что следует сделать, и сделал.

Да, джентльмены, в миг самого решающего кризиса в сво-

ей жизни, когда, можно сказать, судьба его была брошена на весы, Арчибальд Муллинер, проявив чуть ли не впервые некоторое подобие человеческого интеллекта, начал свою прославленную имитацию курицы, снесшей яйцо.

Имитация курицы, снесшей яйцо, в исполнении Арчибальда Муллинера отличалась широтой диапазона и глубоким сопереживанием. Не достигая ярости Сальвини в «Отелло», она таила нечто от грустной проникновенности миссис Сиддонс в сцене сомнамбулизма в «Макбете». Вступление было негромким, почти неслышным – мягкое, томное воркование, радостный и в то же время исполненный сомнений шепот матери, которой все еще не верится, что ее брак и вправду благословен и благодаря ей – и только ей! – на свет появилось это овальное сочетание извести и альбумина, которое она видит подле себя на соломе.

Затем – постепенно – возникает твердое убеждение.

Так и слышишь ее: «Эта штука выглядит точь-в-точь как яйцо. И на ощупь – не иначе как яйцо. И форма у нее как у яйца. Провалиться мне на месте, если это не яйцо!»

И тут, когда все сомнения позади, тон воркования меняется, оно обретает уверенность, взмывает в верхние регистры и, наконец, переходит в гимн материнской радости, в «куух-ку-дах-кудах-кудахтахтах» такой силы, что лишь у редкого слушателя глаза оставались сухими. После чего Арчибальд обычно описывал круг по комнате, хлопая полами пиджака,

а затем вспрыгивал на диван или на удобно расположенный стул, раскидывал руки под прямым углом и кудахтал до посинения.

Все это он проделывал многократно, развлекая соклубников в курительной «Трутней», но никогда с таким воодушевлением, с такой виртуозностью, какие вложил в свое исполнение теперь. Скромный по натуре, как все Муллинеры, он тем не менее не мог не понимать, что на этот раз превзошел себя. Каждый артист знает, когда на него нисходит божественный огонь, и внутренний голос твердил Арчибальду, что он достиг высшей ступени мастерства и это – неповторимый триумф. Любовь пронизывала каждое «ку-ка-кух», которые он выпускал, вдохновляла каждый взмах его рук. Да, любовь с такой силой пришпоривала Арчибальда, что, по его словам, он сделал не один круг по комнате, как обычно, но целых три, прежде чем грациозно вспрыгнуть на комод.

А когда он завершил прыжок, то посмотрел в сторону стеклянной двери и увидел между портьерами прелестнейшее в мире лицо. И в чудеснейших глазах Аврелии Кэммерли он узрел выражение, какого никогда прежде в них не замечал, то выражение, которое Крейцер или другой такой же виртуоз замечает во взглядах сидящих в первом ряду, когда опускает скрипку и утирает лоб тыльной стороной ладони. Это был взгляд, исполненный обожания.

Наступило долгое молчание. Его нарушила она.

– Повтори! – сказала Аврелия Кэммерли.

И Арчибальд повторил. И повторил четыре раза, и мог бы, заверил он меня, бисировать в пятый раз, хотя ограничился парой поклонов. А затем, изящно спрыгнув с комода, он направился к ней. Он чувствовал себя хозяином положения, победителем. Это был его звездный час. Он протянул руки и заключил ее в объятия.

– Аврелия, старушенция, – сказал Арчибальд Муллинер ясным твердым голосом, – ты самое-рассамое оно.

Она, казалось, растворилась в его объятиях и подняла к нему прелестное лицо.

– Арчибальд! – прошептала она.

Вновь наступила вибрирующая тишина, которую нарушали лишь стук двух сердец да хрипение бульдога, словно страдающего хроническим бронхитом. Потом Арчибальд выпустил девушку из объятий.

– Вот так, – сказал он. – Рад, что все уладилось и полный тип-топ. Только сигареты не хватает. В такие минуты просто необходимо закурить.

Она посмотрела на него с изумлением:

– Но я думала, ты не куришь.

– Еще как курю!

– И пьешь?

– И пью, – сказал Арчибальд. – Ничуть не меньше, чем курю. Да, кстати...

– Что такое?

– Только один вопрос. Предположим, эта твоя тетка захо-

чет погостить у нас, когда мы сошьем свое гнездышко. Как ты, любовь моя, отнесешься к идее оглушить ее ударом набитой песком шкурки угря по основанию черепа?

– По-моему, – сказала Аврелия с жаром, – ничего лучше и придумать нельзя.

– Родственные души, вот что мы такое! – вскричал Арчибальд. – Души-близнецы, если на то пошло. Я это с самого начала подозревал, а теперь окончательно убедился. Как пить дать – две родственные души. – Он пылко ее обнял. – А теперь, – сказал Арчибальд, – сбегает вниз и запрем бульдога в кладовой дворецкого, чтобы тот утром неожиданно наткнулся на пса и получил встряску, которая взбодрит его не хуже, чем неделя на морском курорте. Идет?

– Да, – прошептала Аврелия. – О да!

И рука об руку они вышли вместе на широкую лестницу.

# Человек, который бросил курить

Когда дело касается смешанных компаний, подобных небольшому кружку серьезных мыслителей, которые ежевечерне встречаются в зале «Отдыха удильщика», не следует думать, будто в них неизменно царит нерушимая гармония. Мы все – люди сильные духом, а когда сильные духом люди, имеющие свое мнение по каждому предмету, собираются вместе, непременно возникают диспуты. А потому довольно часто даже в этом тихом приюте мира и покоя можно услышать, как голоса повышаются, и на столы обрушиваются удары, и тенор «Разрешите мне поставить вас в известность, сэр» состязается с баритоном «Нет уж, это вы разрешите мне поставить в известность вас». Мне доводилось видеть, как потрясались кулаки, а один раз так в ход было пущено выражение «дурак набитый».

К счастью, там неизменно присутствует мистер Муллинер, всегда готовый обаянием своей личности утишить бурю, прежде чем спор пойдет слишком далеко. И в этот вечер, когда я вошел в зал, он как раз встал, фигурально выражаясь, между побагровевшим Лимонадом и насупленным Кружкой Эля, которые повздорили в углу у окна.

– Джентльмены, джентльмены, – говорил он своим любезным тоном полномочного посла, – что вас так взволновало? Кружка Эля обличающе ткнул мундштуком трубки в сво-

его противника. Было видно, что он возмущен до глубины души.

– Он говорит всякую чушь про курение.

– Я говорю здравые вещи.

– Ни единой не слышал.

– Я сказал, что курение опасно для здоровья. И оно опасно.

– А вот и нет.

– А вот и да. Могу доказать это, исходя из собственного опыта. Когда-то, – сказал Лимонад, – я сам был курильщиком, и гнусная привычка превратила меня в физическую развалину. Щеки у меня обвисли, глаза помутнели, лицо осунулось, пожелтело, покрылось жуткими морщинами. И перемена во мне объясняется тем, что я бросил курить.

– Какая перемена? – спросил Эль.

Лимонад, который словно бы почему-то оскорбился, встал и, сурово прошествовав к двери, исчез в ночи. Мистер Муллинер испустил легкий вздох облегчения.

– Я рад, что он нас покинул, – сказал он. – Курение – это предмет, относительно которого у меня есть твердое мнение. Я смотрю на табак как на прекраснейший дар жизни, и мне досадно слышать, когда такие фанатики его поносят. И сколь нелепы их доводы, сколь легко опровергаются! Они заявляют мне, что стоит капнуть никотином на язык собаки, и после второй капли животное сразу же издохнет, а когда я спрашиваю у них, почему бы им не испробовать хоть раз детски

простой способ – не капнуть никотин на собачий язык, им бывает нечего ответить. Они демонстрируют полную растерянность. И уходят бормоча, что им никогда это в голову не приходило.

Несколько секунд он молча попыхивал сигарой. Его благодушное лицо посуровело.

– Если хотите знать мое мнение, джентльмены, – подвел он итог, – то я утверждаю, что бросать курить не только глупо, но и опасно. Подобный поступок будит демона, который спит в нас всех. Отказаться от курения значит превратиться в угрозу для общества. Мне не забыть, что произошло с моим племянником Игнатиусом. Слава Богу, конец был счастливым, но...

Тем из вас (продолжал мистер Муллинер), кто вращается в артистических кругах, возможно, знакомо имя и творчество моего племянника Игнатиуса. Он портретист, чья известность неуклонно растет. Однако в то время, о котором я веду речь, он не был столь знаменит, как теперь, а потому между заказами у него хватало досуга. Его он коротал игрой на гавайской гитаре и предложениями руки и сердца, которые делал Гермионе, красавице дочери Герберта Дж. Росситера и миссис Росситер, проживающих в доме № 3 на Скантлбери-сквер в Кенсингтоне. До Скантлбери-сквер от его студии было рукой подать – сразу за углом, – и он имел обыкновение каждую свободную минуту кидаться туда, де-

лать предложение Гермione, получать отказ, кидаться обратно, пробренчать пару-другую тактов на гавайской гитаре, а потом закуривать трубку, закидывать ноги на каминную полку и предаваться мыслям о том, что именно в нем словно бы отталкивает эту прелестную девушку.

Презирать его за честную бедность она не могла. Доход у него был вполне приличным.

Услышать о нем что-нибудь плохое она не могла. Его прошлое было безупречно.

Иметь что-либо против его внешности она не могла, ибо – как и у всех Муллинеров – его облик был безоговорочно симпатичным, а под некоторыми углами и обаятельным. К тому же девушка, которая выросла в доме, где имелся отец, занимавший видное место среди химер, украшающих кенсингтонские водосточные трубы, а также парочка недочеловеков, вроде ее братьев Сиприена и Джорджа, вряд ли могла быть уж слишком придирчивой к мужской красоте. Сиприен был бледный, тощий и писал критику на художников для еженедельников, а Джордж был толстый, розовый и обходился без каких-либо оплачиваемых занятий, так как еще в нежном возрасте весьма преуспел в искусстве вытряхивать из друзей и знакомых небольшие суммы займы.

Игнатиуса осенила спасительная мысль: один из братьев вполне мог располагать секретной информацией касательно этой проблемы. Они часто бывали в обществе Гермione, и она, конечно же, могла упомянуть, что именно в нем застав-

ляет ее с таким постоянством отвергать любовь достойного человека. Он заглянул к Сиприену и без обиняков изложил ему все. Сиприен слушал внимательно, поглаживая худой рукой левую бакенбарду.

– А? – сказал Сиприен. – Субъект ощущает нежелание девушки взвесить matrimonialное предложение?

– Ощущает, – сказал Игнатиус.

– И растет недоумение, почему нет никакого продвижения вперед?

– Растет.

– И встает вопрос о причине?

– Встает, причем неоднократно.

– Ну, если есть желание услышать правду, – сказал Сиприен, поглаживая правую бакенбарду, – то, как мне известно, Гермiona говорит, что ты слишком похож на моего брата Джорджа.

Игнатиус пошатнулся и отступил на шаг.

– Похож на Джорджа?

– Так она говорит.

– Но я никак не могу быть похож на Джорджа. Никакой человек не может быть похож на Джорджа.

– Субъект сказал только то, что слышал.

Игнатиус вышел из комнаты, еле держась на ногах и пошатываясь, очутился на Фулемроуд и кое-как добрел до «Козы и бутылки», куда и свернул, чтобы восстановить силы бодрящим напитком. И первым, кого он увидел в баре, был

Джордж, принимающий свою утреннюю дозу.

– Эгей! – сказал Джордж. – Эгей, эгей, эгей!

Он выглядел даже более толстым и розовым, чем обычно, так что теория, будто он может хоть немного походить на такое прискорбное нечто, вызвала у Игнатиуса брезгливое омерзение, и он решил выслушать второе мнение.

– Джордж, – сказал он, – у тебя есть хоть какое-то предположение, почему твоя сестра Гермiona отвергает мою руку и мое сердце?

– Имеется, – сказал Джордж.

– Имеется? Так почему же?

Джордж допил стопку.

– Ты спрашиваешь меня почему?

– Да.

– Ты хочешь знать причину?

– Хочу.

– Ну так, начать с того, – сказал Джордж, – не можешь ли ты одолжить мне фунт до среды без задержки?

– Нет, не могу.

– И даже полфунта?

– И даже полфунта. Будь добр, не уклоняйся от темы и объясни мне, почему твоя сестра не хочет даже смотреть на меня?

– Объясню, – сказал Джордж. – Мало того что ты по натуре жмот и скаред, Гермiona утверждает, что ты еще слишком похож на моего брата Сиприена.

Игнатиус зашатался и упал бы, если бы прежде не подступил ногу под стойку.

– Я похож на Сиприена?

– Так она говорит.

Склонив голову, Игнатиус покинул бар и вернулся к себе в студию поразмышлять. Он был поражен в самое сердце. Он искал секретную информацию, и он ее получил, но никто не мог потребовать, чтобы она его обрадовала.

Он был не только поражен в самое сердце, но и ошарашен. С некоторой натяжкой еще можно было допустить, что человек ходит на Джорджа Росситера. И он допускал, что человек – при условии, что Природа сыграла с ним скверную штуку, – мог бы выглядеть, как Сиприен. Но не мог же человек ходить разом на них обоих и остаться в живых!

Взяв лист бумаги и карандаш, он принялся составлять список качеств и характерных черт обоих братьев, разнося их по параллельным столбцам. Кончив, он начал тщательно изучать результаты. И вот что он написал:

**Джордж**

Морда, как у свиньи

Прыщи

Профессиональный

паразит

Говорит «эгей!»

Хлопает по спинам

Обжора

Рассказывает анекдоты

Липкие пальцы

### **Сиприен**

Морда, как у верблюда

Бакенбарды

Пишет критику на художников

Говорит «субъект»

Ипускает противные смешки

Вегетарианец

Декламирует стихи

Костлявые пальцы

### **Джордж**

Морда, как у свиньи

Прыщи

Профессиональный  
паразит

Говорит «эгей!»

Хлопает по спинам

Обжора

Рассказывает анекдоты

Липкие пальцы

### **Сиприен**

Морда, как у верблюда

Бакенбарды

Пишет критику на  
художников

Говорит «субъект»

Ипускает противные  
смешки

Вегетарианец

Декламирует стихи

Костлявые пальцы

Он нахмурил брови. Тайна осталась тайной. Но затем он прочел последний пункт.

### **Джордж**

Заядлый курильщик

**Сиприен**

Заядлый курильщик

**Джордж**

Заядлый курильщик

**Сиприен**

Заядлый курильщик

Игнатиус Муллинер содрогнулся. Вот наконец-то он – общий фактор. Неужели?.. Возможно ли?..

Единственный логический вывод. Однако Игнатиус отбивался от него, сколько хватало сил. Любовь к Гермione была путеводной звездой его жизни, но следом, отставая лишь на полголовы, к финишу устремлялась его любовь к своей трубке. Неужто он должен выбирать между ними?

Способен ли он на подобную жертву?

Игнатиус заколебался.

И тут его взгляд упал на одиннадцать фотографий Гермione Росситер, взирающих на него с каминной полки, и ему почудилось, что они одобрительно улыбаются. Он отринул колебания. С тихим вздохом, который мог бы вырваться у любящего отца в русских степях, когда ради своего спасения он вынужден выбрасывать родных детей через задок саней мчашейся за ними волчьей стае, он вынул трубку изо рта, собрал остальные свои трубки, свой табак, свои сигары, аккуратно завернул их и, позвав уборщицу, приходившую уби-

рать его студию, вручил ей сверток для передачи ее супругу, весьма достойному человеку по фамилии Перкинс, который из-за стесненного финансового положения курил, как правило, только то, что ему удавалось подобрать с тротуаров.

Игнатиус Муллинер принял великое решение.

Как известно тем из вас, кто испробовал это на опыте, смертоносные последствия отказа от курения редко дают о себе знать в полную силу сразу же после разрыва с табаком. Процесс развивается постепенно. Наоборот, на первой стадии пациент не только не испытывает каких-либо неудобств, но весело разгуливает, надуваясь своего рода газообразной духовной гордостью. И на следующий день Игнатиус все утро, выйдя из дома, испытывал пренебрежительную жалость ко всем тем согражданам, из чьих ртов торчат трубки и сигареты. Он чувствовал себя как святой, который, ведя аскетическую жизнь, очистился от любых низменных эмоций. Он жаждал поведать этим заблудшим о пиридине и тяжелом раздражении, вызываемом этим веществом в горле и других слизистых тканях при вдыхании табачного дыма, в котором оно злокозненно прячется. Ему хотелось ухватить за рукав людей, посасывающих сигары, и поставить их в известность, что табак содержит немалое количество газа, известного под названием угарного, или окиси углерода, который, прямо действуя на пигмент крови, образует с последним столь стойкое соединение, что красные кровяные тель-

да уже не в состоянии доставлять кислород тканям тела. Он томился желанием объяснить им, что курение – всего лишь привычка, от которой человек способен избавиться ценой легчайшего усилия воли в любой момент, когда пожелает. И лишь после того, как он вернулся к себе в студию, чтобы наложить завершающие мазки на полотно, предназначенное для выставки в академии, начался переход к следующей стадии.

Он вкусил второй завтрак художника, состоявший из двух сардинок, мосла ветчины и бутылки пива, и тут, едва его желудок обнаружил, что завтрак не будет завершён покуриванием трубки, на Игнатиуса навалилось странное ощущение пустоты и потери, родственное тому, которое испытал историк Гиббон, завершив свою многотомную «Историю упадка и разрушения Римской империи». Симптомами были неспособность что-либо делать и подавленность, будто он только что потерял близкого друга. Жизнь, казалось, утратила всякий смысл. Он бродил по студии, преследуемый ощущением, что не делает чего-то, что должен был сделать. Время от времени с его губ срывались пузырьки, и раза два его зубы щелкнули, словно он сомкнул их на том, чего между ними не было.

Им овладела сумеречная скорбь. Он взял свою гавайскую гитару, инструмент, которому, как я уже упоминал, был очень привержен, и некоторое время наигрывал «Миссисипи», тоскливую негритянскую песню. Но меланхолия не рас-

сеивалась. И теперь Игнатиус словно бы обнаружил причину. Беда была в том, что он творил слишком мало добра.

Посмотрим на это так, сказал он себе. Наш мир – тоскливое серое место, и водворяют нас в него, чтобы мы по мере сил содействовали счастью других людей. Если мы сосредоточиваемся на наших собственных эгоистических удовольствиях, что мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем, что они преходящи. Нам надоедает грызть мослы ветчины. Гавайская гитара утрачивает свое очарование. Разумеется, если бы мы могли сесть поудобнее, закинуть ноги на стол и поднести спичку к старой доброй трубке, все было бы поиному. Но мы больше не курим, и, следовательно, нам остается только делать добро другим людям. Короче говоря, к трем часам Игнатиус Муллинер добрался до третьей стадии, липко-сентиментальной. Так что вынужден был взять шляпу и рысцой обогнуть угол Скантлбери-сквер.

Но рысил он туда не для того, чтобы, по обыкновению, предложить Гермионе Росситер руку и сердце. Цель его была менее эгоистичной. Последнее время оборванные намеки и недоговоренности заставили его понять, что миссис Росситер очень хотела, чтобы он написал портрет ее дочери, и до последней минуты все эти недоговоренности и намеки не вызывали у него ни малейшего отклика. Он понимал, что материнское сердце миссис Росситер жаждет получить этот портрет бесплатно, и, хотя любовь – это любовь и все такое прочее, он, как всякий художник, терпеть не мог лишаться

того, что ему причиталось. Игнатиус Муллинер, молодой человек, мог поиграть с мыслью о том, чтобы угодить любимой девушке, написав ее портрет за спасибо, но Игнатиус Муллинер, художник, соблюдал свою шкалу расценок. И до этого дня решающее слово оставалось за вторым Игнатиусом Муллинером.

И вот в этот день после полудня все изменилось. Вкратце, но с силой он заверил мать Гермионы, что самое горячее его желание – написать портрет ее дочери и, если ему будет оказана эта честь, разумеется, ни о каком гонораре речи быть не может. И если завтра утром она войдет в его студию в сопровождении Гермионы, он тотчас возьмется за кисти.

Собственно говоря, он чуть было не предложил написать еще один портрет – самое миссис Росситер в вечернем туалете и с ее сверхпородистым брюссельским грифоном. Однако успел проглотить роковые слова, и, пожалуй, именно воспоминание об этом запоздалом порыве благоразумия породило у него, когда он спустился с крыльца после этой встречи, щемящее ощущение, что он был не столь альтруистичен, как ему хотелось.

Охваченный раскаянием, он решил заглянуть к доброму старине Сиприену и пригласить его побывать завтра у него в студии и покритиковать полотно, предназначенное для выставки в академии. А затем он разыщет милого старину Джорджа и уговорит его принять займы небольшую сумму. Десять минут спустя он уже был в гостиной Сиприена.

– Субъект был бы рад чему? – недоверчиво переспросил Сиприен.

– Субъект был бы рад, чтобы ты забежал завтра утром поглядеть на полотно, предназначенное для академии, и дал бы парочку советов.

– И субъект серьезен? – вскричал Сиприен, а его глаза загорелись. Такого рода приглашения он получал крайне редко. Собственно говоря, его вышвыривали из подавляющего большинства студий за вторжение и советы художнику куда чаще, чем какого-либо другого критика. – В таком случае ровно в одиннадцать, – сказал Сиприен. – Непременно.

Игнатиус горячо потряс его руку и поспешил в «Козу и бутылку» искать Джорджа.

– Джордж, – сказал он, – Джордж, мой милый-милый старина Джордж, вчера я провел бессонную ночь, думая о том, достаточно ли у тебя денег. Страх, что ты можешь оказаться на мели, пронзил меня, как нож. Забеги ко мне и возьми столько, сколько тебе требуется.

Лицо Джорджа было отчасти заслонено кружкой. При этих словах его глаза, выпученные поверх ее края, внезапно приняли паническое выражение. Он поставил кружку, побелел как полотно и поднял правую ладонь.

– Это, – произнес он спотыкающимся голосом, – конец! С этой секунды я завязал. Да, ты видел, как Джордж Плимсол Росситер испил свою последнюю кружку портера. Я не из нервных, но я знаю, когда пора перестать рыпаться. И если

уж уши пошли наперекосяк...

Игнатиус ласково потрепал его по плечу.

– Твои уши никуда не пошли, Джордж, – сказал он. – Они все еще на месте.

И правда, они были на месте – такие же большие и красные, как всегда. Но утешить Джорджа оказалось невозможно.

– Я про то, что когда тебе мерещится, будто ты что-то слышишь... Даю тебе честнейшее слово, старик, торжественно тебя заверяю, не сойти мне с этого места, если я не слышал, как ты добровольно предложил мне деньги взаймы.

– Но именно это я и сделал.

– Ты...

– Безусловно.

– Ты хочешь сказать, что ты точно... буквально... без какого-либо понуждения с моей стороны... хотя я ни словечком не намекнул, что небольшой заемчик до будущей пятницы меня очень выручил бы... ты действительно предложил одолжить мне деньги?

– Да!

Джордж перевел дух и ухватил кружку.

– Вся эта нынешняя прогрессивная чушь, которую приходится читать, что, дескать, никаких чудес не бывает, – сказал он с благородным негодованием, – чистейшее надувательство. Я ее не одобряю. Меня она глубоко возмущает. А сколько? – продолжал он, с обожанием поглаживая Игнати-

уса по рукаву. – То есть, так сказать, твоя последняя цифра? Фунт?

Игнатиус поднял брови.

– Фунт – это не цифра, Джордж, – сказал он с тихой укоризной.

Джордж булькнул:

– Пятерка?

Игнатиус покачал головой. Это движение было безмолвным упреком.

– Не... десятку же?

– Я намеревался предложить пятнадцать фунтов, – сказал Игнатиус. – Если ты уверен, что этого будет достаточно.

– Эгей!

– Ты убежден, что обойдешься этой суммой? Я же знаю, сколько у тебя расходов.

– Эгей!

– Ну хорошо. Если пятнадцать фунтов тебя устроят, загляни завтра утром ко мне в студию, и мы это обтяпаем.

Сияя лихорадочной благожелательностью, Игнатиус усердно хлопнул Джорджа по спине и удалился.

«Задумал дело, его завершил, – сказал он себе следом за поэтом Лонгфелло, когда несколько часов спустя забрался под одеяло, – и отдых ночной заслужил сполна».

Подобно многим людям, которые живут напряженной жизнью и трудятся с помощью мозга, мой племянник Игна-

тиус обычно спал долго и крепко. А пробудившись навстречу новому дню, он еще немало времени лежал на спине в полубезытии и не шевелясь, пока нежный обворожительный аромат жарящейся грудинки не выманивал его из объятий лужа. Однако в это утро, едва открыв глаза, он ощутил в себе непривычную возбужденность. Он чувствовал себя прямо-таки на взводе. Короче говоря, он достиг стадии, когда у пациента начинают пошаливать нервы.

Да, пришел он к заключению, проанализировав свои эмоции, нервы у него действительно разыгрались. Громкий топот кошки за дверью вызвал у него острую агонию. Он как раз собрался крикнуть миссис Перкинс, чтобы она укротила разгулявшуюся тварь, когда миссис Перкинс сама внезапно постучала в дверь, извещая, что горячая вода для бритья ждет его. При первом же стуке он в оболочке из простыни и одеял взвился прямо к потолку, трижды перекувыркнулся в воздухе и приземлился, весь дрожа, точно испуганный мустанг, на пол посередине комнаты. Его сердце застряло где-то в миндалинах, глаза повернулись в глазницах на сто восемьдесят градусов, и он растерянно прикинул, сколько еще человек кроме него уцелели после взрыва этой бомбы.

Затем рассудок вновь воссел на трон, а он ощутил непреодолимую потребность предаться слезам. Затем, вспомнив, что он все-таки Муллинер, утер слезы, недостойные мужчины, прокрался в ванную, принял холодный душ и почувствовал себя немного лучше. Исцелению поспособствовал и

обильный завтрак, и он уже почти вновь стал самим собой, как вдруг открытие, что в доме нет ни трубки, ни пылинки табака, вновь ввергло его в черное уныние.

Игнатиус Муллинер очень долго сидел, уткнув лицо в ладони, и все горести мира словно вставляли перед его глазами. И тут настроение Игнатиуса опять переменялось. Еще секунду назад он скорбел об участи человечества с силой, которая, казалось, вот-вот разорвет его в клочья. А теперь ему стало пронзительно ясно, что судьбы человечества его нисколько не интересуют. Человечество возбуждало в нем только одно чувство: глубочайшую неприязнь. Его сжигало жаркое отвращение ко всему существу. Присутствуй при этом кошка, он лягнул бы ее. Войди миссис Перкинс, он ударил бы ее муштабелем. Но кошка отправилась восстанавливать силы среди мусорных баков, а миссис Перкинс на кухне распевала духовные гимны. Игнатиус Муллинер закипал от неизрасходованной ярости. Он задыхался от накопившейся в нем ненависти – а рядом ни единой живой души, чтобы истратить на нее хоть часть запаса. Вот так, сказал он себе с угрюмым смешком, оно всегда и бывает.

Но в этот миг дверь распахнулась, и в ней, точно верблюд, вступающий в оазис, появился Сиприен.

– А, мой милый! – сказал Сиприен. – Субъект может войти?

– Валяй, входи, – сказал Игнатиус. При виде этого художественного критика, который щеголял не только коротко под-

стриженными бакенбардами, но и черным шарфом – из тех, которые дважды оборачивают вокруг шеи, после чего омерзительность носящего увеличивается на сорок – пятьдесят процентов, Игнатиус Муллинер впал в странное лихорадочное состояние. Он ощущал себя тигром в зверинце, когда служитель приближается к его клетке с обеденным подносом в руках. Не спуская глаз с гостя, он медленно облизнул губы. За спиной художника на стене висел богато инкрустированный дамасский кинжал. Игнатиус снял его и попробовал острие на подушечке большого пальца.

Сиприен тем временем повернулся к нему спиной и рассматривал предназначенное для академии полотно через монокль в черной оправе. Он наклонял голову туда-сюда, шурился и не скупился на своеобразные критически-искусствоведческие бурканья.

– Да-а-а-а, – говорил Сиприен. – М-нда. Ха! Хм. Кха-кха. Вещь обладает ритмом, бесспорным ритмом, и до известной степени некоторыми неизбежными дугообразными линиями. И все же может ли субъект с чистой совестью признать, что она нравится бесспорно? К несчастью, никак не может.

– Нет? – сказал Игнатиус.

– Нет, – сказал Сиприен, теребя левую бакенбарду. Он словно массировал ее для каких-то своих целей. – Субъект неизбежно с первого взгляда ощущает, что патине не хватает витализма.

– Да? – сказал Игнатиус.

– Да, – сказал Сиприен. И снова потерял бакенбарду. Однако было еще рано судить, внес ли он в нее какие-нибудь улучшения. Сиприен закрыл глаза, открыл их, полузакрыв, откинул голову, покрутил пальцами и с шипением выпустил воздух сквозь зубы, словно чистил скребницей лошадь. – Вне всяких сомнений, субъект ощущает в патине нехватку витализма. Витализмом же никогда не следует пренебрегать. Художник должен управлять своей палитрой, как оркестром. Он должен накладывать краски, как великий дирижер использует оркестровые инструменты. Необходима значимая форма. Цвет должен обладать плоскостностью, притяжением, сказать ли – ароматом? Фигура должна помещаться на холсте в манере не просто гармоничной, но несущей пробуждение. Только так картина сможет обрести изысканную жизненность. А что до патины...

Сиприен прервал свою речь. У него нашлось бы что еще сказать о патине, но у себя за спиной он услышал непонятное приглушенное шуршание – такое в джунглях может издавать лапа леопарда, крадущегося к добыче. Стремительно обернувшись, Сиприен увидел, что на него надвигается Игнатиус Муллинер. Губы художника оттянулись в жуткой неподвижной улыбке, обнажив оскаленные зубы. Его глаза зловеще мерцали. А правой рукой он заносил дамасский кинжал. Богато инкрустированный, как заметил Сиприен.

Художественный критик, имеющий обыкновение обходить студии в Челси и высказывать свое мнение людям, за-

вершающим полотна для выставки в академии, приучается мыслить молниеносно. Бросить взгляд на дверь и заметить, что она закрыта и что его гостеприимный хозяин находится между ним и ею, было для Сиприена Росситера секундным делом. Как и метнуться за мольберт. Несколько напряженных минут они оба безмолвно обращались вокруг мольберта. А на двенадцатом витке Сиприен получил колотую рану чуть выше локтя.

С другим человеком это могло бы сыграть дурную шутку: понудить его замедлить шаг, потерять голову и стать легкой добычей своего преследователя. Но на стороне Сиприена был богатый опыт в подобных вещах. Всего за двое суток до этого утра один из ведущих английских художников-анималистов битый час гонялся за ним в тщетной попытке достать его короткой дубинкой, залитой свинцом.

Сиприен сохранял полное хладнокровие. Перед лицом опасности его умение работать ногами, всегда впечатляющее, обретало новый блеск. И в конце концов, когда Игнатиус споткнулся о коврик, он использовал эту счастливую случайность как опытный стратег, каким непременно должен стать каждый художественный критик, раз уж он общается с художниками, и ловко укрылся в стенном шкафу неподалеку от помоста для натурщиков и натурщиц.

Игнатиус вернул себе равновесие с опозданием на секунду. К тому времени, когда он выпутался из коврика, подскокил к шкафчику и потянул за ручку, Сиприен по ту сторо-

ну дверцы уже тянул ручку на себя, и все усилия Игнатиуса пропали втуне.

Несколько минут спустя он отказался от дальнейших попыток, угрюмо отошел от дверцы, взял гавайскую гитару и некоторое время наигрывал «Миссисипи». И как раз справлялся с коварным «Она ничего не скажет. Она, значит, что-то знает», когда дверь открылась и на пороге вырос Джордж.

– Эгей! – сказал Джордж.

– А! – сказал Игнатиус.

– Что значит «А!»?

– Просто «А».

– Я пришел за заемчиком.

– А?

– За двадцатью фунтами, или сколько ты там сверхпорядочно обещал мне вчера. Хотя сегодня утром, пока я лежал в кровати, меня осенило: почему бы не двадцать пять? Такая милая круглая сумма, – победоносно закончил Джордж.

– А!

– Ты все время говоришь «А!», – сказал Джордж. – Почему ты говоришь «А!»?

Игнатиус надменно выпрямился:

– Это моя студия, оплачиваемая моими деньгами, и, находясь в ней, я буду говорить «А!» сколько захочу.

– Конечно-конечно, – торопливо согласился Джордж. – Конечно, старина, дорогой мой, конечно, конечно, конечно. Ха! – Он поглядел вниз. – Шнурок развязался. Опасная шту-

ка. Можно споткнуться. Прошу извинения.

С этими словами он нагнулся, и пока Игнатиус смотрел на широкое округлое пространство его брюк чуть ниже пояса, на него сошло озарение: упустить подобный редкий случай было бы просто непростительно. Он поболтал правой ногой для разминки, отступил и бесшумно шагнул вперед.

Тем временем миссис Росситер в сопровождении своей дочери Гермионы покинула Скантлбери-сквер и хотя несколько запыхалась, но преодолела расстояние до студии за вполне приличное время. Но это усилие не прошло даром, и на полпути вверх по лестнице она была вынуждена остановиться, чтобы передохнуть. И пока она стояла там, слегка отдуваясь, будто тюлень, нырявший за рыбой, мимо нее в темноте словно бы пронеслось нечто.

– Что это было? – вскричала она.

– Мне тоже показалось, будто я что-то видела, – сказала Гермиона.

– Какой-то тяжелый движущийся предмет.

– Да, – сказала Гермиона. – Наверное, нам надо подняться и спросить мистера Муллинера, не сбрасывал ли он вещи на лестницу.

Они достигли студии. Игнатиус стоял на одной ноге (левой), растирая пальцы правой. Художник ведь по определению – рассеянный мечтатель, и он слишком поздно спохватился, что был обут в шлепанцы. Но хотя Игнатиус испыты-

вал немалую боль, выражение его лица нельзя было назвать страдальческим. Он выглядел как человек, сознающий, что совершил достохвальный поступок.

– Доброе утро, мистер Муллинер, – сказала миссис Росситер.

– Доброе утро, мистер Муллинер, – сказала Гермиона.

– Доброе утро, – сказал Игнатиус, глядя на них с глубочайшим омерзением. Он не понимал, как мог находить эту девушку привлекательной. До этой минуты его неприязнь была обращена исключительно на членов ее семьи мужского пола, но теперь, увидев ее перед собой, он осознал, какой поистине выдающейся росситеровской бородавкой была она, его Гермиона. Краткая вспышка *joie-de-vivre*<sup>2</sup>, последовавшая за его беседой с Джорджем, угасла, и настроение у него было чернее прежнего. Не хочется даже думать том, что могло произойти, выбери Гермиона эту минуту, чтобы завязать развязавшийся шнурок.

– Вот мы и пришли, – сказала миссис Росситер.

В этот момент начала невидимо для них бесшумно растворяться дверца шкафа. Наружу выглянуло бледное лицо. В следующий миг взвихрилось облако пыли, раздался свистящий звук и топот ног, бегущих вниз по лестнице.

Миссис Росситер прижала руку к сердцу и запыхтела:

– Что это было?

– Немножко смазалось, – сказала Гермиона, – но, по-мо-

---

<sup>2</sup> Жизнерадостность (*фр.*).

ему, это был Сиприен.

Игнатиус испустил странный вопль и бросился на площадку лестницы.

– Скрылся!

Он вернулся с искаженным лицом, что-то бормоча себе под нос. Миссис Росситер пронзила его взглядом. Ей было ясно, что тут не хватает только двух психиатров, чтобы подписать необходимое заключение, но она не отчаялась. В конце-то концов, рассудила она с изрядной долей здравого смысла, свихнувшийся художник ничем не хуже здорового художника при условии, что он пишет портреты и не требует гонорара.

– Что же, мистер Муллинер, – сказала она бодро, выбрасывая из головы загадку, поставившую ее в тупик: почему ее сын Сиприен вел себя в этой студии как экспресс Лондон – Эдинбург, – Гермiona сегодня утром свободна, так что, если вы ничем не заняты, сейчас вполне подходящее время начать.

Игнатиус очнулся от своего забытья:

– Начать?

– Позировать для портрета.

– Какого портрета?

– Портрета Гермiony.

– Вы хотите, чтобы я написал портрет мисс Росситер?

– Но вы же сами обещали... вчера вечером.

– Обещал? – Игнатиус провел рукой по лбу. – Быть может,

быть может. Очень хорошо. Будьте так любезны, подойдите к бюро и выпишите чек на пятьдесят фунтов. Чековая книжка у вас с собой?

– Пятьдесят... чего?

– Гиней, – сказал Игнатиус. – Сто гиней. Я всегда прошу аванс перед тем, как приступлю к работе.

– Но вчера вечером вы сказали, что напишете ее портрет бесплатно.

– Я сказал, что напишу ее бесплатно?

– Да.

В голове Игнатиуса шевельнулось смутное воспоминание, будто он и правда сморозил что-то такое.

– Ну, предположим, что и так, – сказал он горячо. – Неужели вы, женщины, не способны понять, когда мужчина шутит? Неужели у вас нет чувства юмора? Неужели каждый легкий розыгрыш надо принимать буквально? Если вы хотите, чтобы с мисс Росситер был написан портрет, извольте заплатить за него, как принято. Только я никак не могу понять, зачем вам понадобился портрет девицы, которую отличают не только малопривлекательные черты лица, но и золотушный цвет кожи. Кроме того, она дергается. Вот я гляжу на нее, и она явно дергается по краям. Лицо у нее землистое, нездоровое. В глазах нет ни проблеска ума. Уши у нее вывернуты наружу, а подбородок срезан вовнутрь. Короче говоря, от ее внешности, взятой в целом, у меня начинается зубная боль. И если вы будете настаивать на том, чтобы я сдержал

свое обещание, то я попрошу доплаты за моральный и интеллектуальный, а также и физический ущерб, неизбежный, если я буду вынужден сидеть напротив и смотреть на нее.

С этими словами Игнатиус Муллинер отвернулся и начал рыться в ящике, разыскивая трубку. Но трубки в ящике не было.

– Что?! – вскричала миссис Росситер.

– Что слышали, – сказал Игнатиус.

– Мой флакон с нюхательной солью! – ахнула миссис Росситер.

Игнатиус провел рукой по каминной полке. Открыл два шкафа и заглянул под кушетку. Но трубки не нашел.

Муллинеры по натуре привержены вежливости, и, увидев, как миссис Росситер нюхает и сглатывает, Игнатиус с запозданием почувствовал, что, пожалуй, был менее тактичен, чем следовало бы.

– Не исключено, – сказал он, – что мои предыдущие высказывания могли причинить вам боль. Если так, я сожалею. Оправданием мне должно послужить то, что произнесены они были от полноты сердца. Я сыт человечеством по самые гланды, а на семейство Росситер смотрю как на, возможно, самое черное из пятен, его пятнающих. Видеть не могу семейство Росситер. По-моему, на них нет ни малейшего спроса. Единственное, чего я хочу от Росситеров, – это их крови. Я чуть было не достал Сиприена кинжалом, но он оказался слишком проворным. Если он потерпит неудачу как критик,

его всегда ждет вакансия первого танцора в русском балете. Однако с Джорджем мне повезло много больше. Я наградила его самым смачным пинком, какой когда-либо впечатывал в человеческий торс. Получи он пулю, и то не сумел бы вылететь отсюда быстрее. Возможно, он разминулся с вами на лестнице?

– Ах, так, значит, вот что промчалось мимо нас! – с интересом сказала Гермиона. – Помнится, я еще подумала, что запахло Джорджем.

Миссис Росситер уставилась на него в ужасе:

– Вы ударили ногой моего сына!

– И точно в то место, куда следовало, сударыня, – сказал Игнатиус со скромной гордостью, – будто я неделю тренировался.

– Мое искалеченное дитя! – вскричала миссис Росситер и поспешила вон из комнаты вниз по лестнице в поисках дорогих останков. Лучший друг мальчика – его мать.

В студии, которую она покинула, Гермиона смотрела на Игнатиуса взглядом, какого прежде он никогда у нее не видел.

– Я понятия не имела, мистер Муллинер, что вы так красноречивы, – сказала она, прерывая молчание. – Как ярко вы описали меня. Настоящее стихотворение в прозе.

Игнатиус скромно пожал плечами.

– Что уж, – сказал он.

– Вы правда считаете, что я такая?

– Считаю.

– Золотушная?

– С зеленоватым отливом.

– А мои глаза... – Она заколебалась, ища слова.

– Напоминают посинелых устриц, – подсказал Игнатиус, – сдохших довольно давно.

– Короче говоря, вы не восхищаетесь моей наружностью?

– Более чем.

Она продолжала говорить, но он перестал слушать. Внезапно он припомнил, что пару недель назад на небольшой вечеринке, которую он устроил в студии, его недокуренная сигара упала за бюро. А поскольку правила их профсоюза запрещают уборщицам подметать под бюро, сигара могла... нет, должна была еще находиться там. С лихорадочной быстротой он отодвинул бюро. Вот она!

Игнатиус Муллинер испустил экстатический вздох. Изжеванный, помятый, покрытый пылью и погрызенный мышами, этот зажатый в его пальцах предмет тем не менее был сигарой – подлинной, пригодной для курения сигарой, содержащей положенные восемь процентов окиси углерода. Он чиркнул спичкой и секунду спустя уже пыхтел.

И пока пыхтел, доброта и благожелательность вновь хлынули в его душу гигантской приливной волной. И с быстротой, с какой кролик в руках компетентного фокусника преобразуется в букет, аквариум с золотыми рыбками или в величественный флаг, Игнатиус Муллинер преобразился в су-

щество, сотканное из нежности и света, снисходительное ко всем, не таящее злобу ни против кого. Пиридин резвился на поверхности его слизистых тканей, и он приветствовал его, точно брата после долгой разлуки. Он исполнился веселья, счастья, ликования.

Он поглядел на Гермionу, чьи глаза сияли, красивое лицо светилось, и понял, что глубоко заблуждался относительно нее. Была она отнюдь не бородавкой, но, напротив, прелестнейшим созданием, которое когда-либо вдыхало благоуханный воздух Кенсингтона.

И тут, охлаждая его экстаз, оборвав биение его сердца на середине удара, возникло воспоминание о том, что он наговорил про ее внешность. Он ощутил себя бледной тенью без костей. Если когда-либо человек сам себя усаживал в лужу, этим человеком был Игнатиус Муллинер. И никаких сомнений на этот счет.

Она смотрела на него, и ее выражение как бы указывало, что она чего-то ждет.

– Так как же? – сказала она.

– Прошу прощения? – сказал Игнатиус.

Она надула губы:

– Так разве вы не хотите... э?..

– Чего?

– Ну, заключить меня в объятия и все такое прочее, – сказала Гермiona, мило краснея.

Игнатиус пошатнулся:

– Кто? Я?

– Да, вы.

– Заключение вас в объятия?

– Да.

– Но... э... вы хотите, чтобы я?

– Безусловно.

– Я имею в виду... после всего, что я сказал?..

Она уставилась на него в изумлении.

– Разве вы не слышали того, что я вам говорила? – вскричала она.

– Извините, – пробормотал Игнатиус. – В настоящее время на меня столько всего навалилось. Видимо, я прослушал. Так что вы сказали?

– Я сказала, что, если, по-вашему, я и правда выгляжу такой, значит, вы любите меня не за мою красоту, как я всегда полагала, но за мой интеллект. А если бы вы знали, как я всегда мечтала, чтобы меня полюбили за мой интеллект!

Игнатиус положил сигару и перевел дух.

– Дайте мне разобраться, – сказал он. – Вы пойдете за меня замуж?

– Конечно, пойду. Меня всегда странно влекло к вам, Игнатиус, но я думала, что вы смотрите на меня всего лишь как на куклу.

Он взял сигару, затянулся, снова положил, сделал шаг вперед, простер руки к ней и сомкнул их вокруг нее. И какое-то время они стояли обнявшись, шепча прерывистые слова, так

хорошо известные влюбленным. Затем, мягко высвободившись, он вернулся к сигаре и сделал еще одну упоительную затяжку.

– К тому же, – сказала она, – как могла бы девушка не любить того, кто сумел единым пинком спустить моего брата Джорджа с лестницы?

Лицо Игнатиуса омрачилось.

– Джордж! Да, кстати. Сиприен сказал, что ты сказала, что я похож на Джорджа.

– А! Я не думала, что он станет это повторять.

– Но он повторил, – мрачно сказал Игнатиус. – И мысль об этом была агонией.

– Но я же имела в виду только то, что вы с Джорджем все время бренчите на гавайской гитаре. А я не терплю гавайской гитары.

Лицо Игнатиуса прояснилось.

– Сегодня же днем отдам свою нищим. Но раз уж речь зашла о Сиприене... Джордж сказал, что ты сказала, что я напоминаю тебе его.

Она поспешила его успокоить:

– Только манерой одеваться. Вы оба одеваетесь до жути мешковато.

Игнатиус снова заключил ее в объятия.

– Ты немедленно отведешь меня к лучшему портному в городе, – сказал он. – Дай мне минуту, чтобы надеть ботинки, и я буду готов. Но ты не против, если по дороге я загляну

в табачный магазин? Мне надо сделать большой заказ.

# История Седрика

Мне доводилось слышать, будто уютный покой, окутывающий зал «Отдыха удильщика», порождает у завсегдатаев что-то вроде черствости и безразличия к человеческим страданиям. Боюсь, обвинение это не так уж беспочвенно. Мы, избравшие сие заведение своим приютом, посиживаем в тихой заводи в стороне от бешеной стремнины Жизни. Пусть мы туманно сознаем, что в широком мире есть скорбящие и кровоточащие сердца, но мы заказываем еще джинну с имбирем и забываем о них. Трагедия для нас превращается всего лишь в бутылку выдохшегося пива.

Тем не менее эта скорлупа эгоизма способна растрескаться. И когда вечером в это воскресенье в зал вошел мистер Муллинер и сообщил, что мисс Постлетуэйт, наша одаренная и всеми любимая буфетчица, порвала свою помолвку с Альфредом Лакином, обходительным продавцом в магазине тканей «Бонтон» на Хай-стрит, не будет преувеличением сказать, что все мы были потрясены.

– Но ведь всего полчаса назад, – вскричали мы, – она отправилась на встречу с ним в лучшем своем платье из черного атласа и с пламенем любви в глазах! Они должны были вместе пойти в церковь.

– До священного здания они так и не добрались, – сказал мистер Муллинер, вздыхая, и грустно отхлебнул горя-

чего шотландского виски с лимонным соком. – Разрыв произошел сразу же, едва они встретились. Скалой, о которую разбилась хрупкая ладья любви, оказались желтые ботинки Альфреда Лакина.

– Желтые ботинки?

– Желтые ботинки, – сказал мистер Муллинер, – особой яркости. Они незамедлительно стали яблоком раздора. Мисс Постлетуэйт, девица изысканнейшей деликатности и благочестия, указала, что явиться на вечернюю службу в подобного рода обуви значило бы выказать неуважение священнику. Кровь Лакинов горяча, и, задетый за живое, Альфред возразил, что уплатил за них шестнадцать шиллингов и восемь пенсов, а священник пусть пойдет и утопится в кипящем котле. После чего было возвращено кольцо и оговорена процедура возвращения подарков и писем.

– Милые бранятся...

– Ну, будем надеяться.

Зал погрузился в задумчивое молчание. Первым его нарушил мистер Муллинер.

– Странно, – сказал он, очнувшись от своих размышлений, – для каких разнообразнейших целей Судьба использует одно и то же оружие. Вот перед нами пара влюбленных, разлученных желтыми ботинками. А в случае с моим кузеном Седриком желтые ботинки одарили его женой. Обоюдное орудие.

Утверждать, будто мне искренне нравился мой кузен Седрик (продолжал мистер Муллинер), значило бы исказить истину. Он не был мужчиной, пользующимся симпатией многих других мужчин. Еще мальчиком Седрик проявлял признаки, указывавшие, что со временем он может стать тем, чем в конце концов и стал – одним из тех аккуратных, чопорных, педантичных и вздорных пожилых холостяков, которыми изобилуют Сент-Джеймс-стрит и ее окрестности. Тип людей, который мне никогда не импонировал, а Седрик вдобавок к аккуратности, чопорности, педантичности и вздорности был еще и одним из ведущих лондонских снобов.

Что до остального, то он обитал в комфортабельной квартире в Олбени, где утром между половиной десятого и двенадцатью часами затворялся со своей компетентной секретаршей, мисс Мэртл Уотлинг, трудясь над чем-то, природа чего была окутана тайной. Некоторые говорили, что он пишет историю гетр, другие – что работает над мемуарами. Я же полагаю, что он ни над чем не работал, а просто пребывал на протяжении этих часов в обществе мисс Уотлинг лишь по той причине, что ему недоставало смелости ее рассчитать. Она принадлежала к тем невозмутимым, сильным молодым женщинам, которые внимательно взирают на окружающий мир сквозь очки в черепаховой оправе. Рот у нее был решительным, подбородок неколебимым. Муссолини в наилучшей своей форме еще мог бы ее уволить, но, думаю, никто другой не рискнул бы.

Итак, перед вами мой кузен Седрик. Сорок пять лет – возраст, сорок пять дюймов – объем талии, признанный авторитет в вопросах одежды, один из шести апробированных зануд в своем клубе и человек, перед которым открыты двери всех самых фешенебельных домов Лондона. Казалось невероятным, что мирный покой подобной личности может быть взорван, что установившийся распорядок жизни такого человека может быть серьезно нарушен, однако произошло именно это. Поистине верно, что в этом мире никогда не угадаешь, за каким углом притаилась Судьба с кастетом наготове.

День, который оказался столь роковым для холостяцкой безмятежности Седрика Муллинера, начался по иронии все той же Судьбы на самой счастливой ноте. Было воскресенье, а по воскресеньям ему дышалось особенно легко, так как в этот день мисс Уотлинг не посещала его квартиру. Последнее время ему в присутствии мисс Уотлинг становилось все более и более не по себе. У нее появилась манера поглядывать на Седрика с непонятным оценивающим выражением в глазах. Постигнуть смысл этого выражения ему не удавалось, но оно его тревожило. И он был рад избавиться от ее общества на целый день.

К тому же от портного только что прибыл его утренний костюм, и, рассматривая себя в зеркале, он установил, что выгладит безупречно. Галстук спокойной расцветки и величайшей элегантности. Брюки – само совершенство. Сверка-

ющие черные ботинки – именно то, что требуется. В вопросах одежды он должен был поддерживать свою репутацию. Молодые люди видели в нем пример для подражания. И он чувствовал, что сегодня не обманет их ожиданий.

А в довершение всего ему предстоял званый завтрак в половине второго в доме лорда Наббл-Нобского на Грос-венор-сквер, и он знал, что может рассчитывать встретить там весь цвет и все сливки английской аристократии. Его предвкушение оправдалось более чем. Если не считать деревенщины-баронета, который каким-то образом умудрился туда пролезть, за столом, помимо него самого, не было никого рангом ниже виконта, а в довершение счастья его посадили рядом с леди Хлоей Даунблоттон, красавицей дочерью седьмого графа Чуолского, к которой он давно питал отеческую и почтительную привязанность. И они так мило беседовали, что по окончании трапезы, когда гости начали расходиться, она спросила, не хочет ли он пройтись с ней до статуи Ахиллеса, если им по пути.

– Дело в том, – сказала леди Хлоя, когда они неторопливо пошли по Парк-лейн, – что мне необходимо кому-то довериться. Я только что помолвилась.

– Помолвились! Дражайшая леди Хлоя, – благоговейно прожурчал Седрик, – я желаю вам всяческого счастья. Однако я не видел никакого объявления в «Морнинг пост».

– Да. И ставлю пятнадцать против четырех, что и не увидите. Все зависит от того, как дорогуша старикан, седьмой

граф, поведет себя, когда сегодня к вечеру я приволоку Клода домой и положу на дверной коврик. Я люблю Клода, – вздохнула леди Хлоя, – со страстью слишком неистовой для слов, но прекрасно понимаю, что он не конфетка. Видите ли, он художник и, если его предоставить самому себе, одевается на манер бродяги-велосипедиста. Но я все-таки надеюсь на лучшее. Вчера я затащила его в магазин братьев Коэнов и заставила купить утренний костюм и цилиндр. Слава Богу, вид у него почти приличный, а потому...

Ее голос замер, перейдя в странное клокотание. Они уже вошли в парк и приближались к статуе Ахиллеса, а к ним, дружески приподняв цилиндр, приближался молодой человек приятной наружности, корректно одетый в пиджак, серый галстук, крахмальный воротничок и пару восхитительных клетчатых брюк с острой складкой, великолепно заглаженной в направлении север – юг.

Но увы, корректность его костюма не достигала ста процентов. От шеи до лодыжек он был вне всякой критики, но ниже! Леди Хлоя прервала обращенную к Седрику Муллинеру фразу и испустила стон ужаса, рожденный видом ярко-желтых ботинок, в которые был обут молодой человек.

– Клод! – Леди Хлоя прикрыла глаза дрожащей рукой. – О боги! – вскричала она. – Нега ног! Банановый изыск! Желтая опасность! Зачем? По какой причине?

Молодой человек словно бы растерялся.

– Они тебе не нравятся? – сказал он. – А я думал, они

самое оно. Именно то, что, по моему мнению, требует эта одежда, – колоритный штрих. По-моему, дополняет композицию.

– Они ужасны. Объясните ему, как они ужасны, мистер Муллинер.

– Обувь коричнево-желтых оттенков с утренними костюмами не носят, – сказал Седрик тихим торжественным голосом. Он был глубоко потрясен.

– А почему?

– Без «почему», – сказала леди Хлоя, – не носят, и все. Погляди на обувь мистера Муллинера.

Молодой человек поглядел.

– Пресно, – сказал он. – Тускло. Не хватает лихости и чего-то эдакого... Они мне не нравятся.

– Ну так приучайся, чтобы нравились, – сказала леди Хлоя, – потому что ты обменяешься обувью с мистером Муллинером сию же секунду.

С губ Седрика раздался старухолостяцкий пронзительный писк, которому позавидовала бы любая летучая мышь. Он не верил своим ушам.

– Идите сюда оба, – энергично приказала леди Хлоя. – Вон за той скамейкой вам будет удобно. Я уверена, вы не против, мистер Муллинер, правда?

Седрик все еще содрогался с головы до ног.

– Вы просите меня надеть желтые ботинки с утренним костюмом? – прошептал он, а его лицо под глянцевым цилин-

дром сразу побледнело и осунулось.

– Да.

– Здесь? В парке? В разгар сезона?

– Да. Пожалуйста, поторопитесь.

– Но...

– Мистер Муллинер! Право же! Чтобы оказать любезность мне!

Она смотрела на него молящими глазами, и из мутного водоворота мыслей Седрика вынырнул прозрачный, как хрусталь, неопровержимый факт: эта девушка – дочь графа, а по материнской линии состоит в родстве не только с соммерсетширскими Миофами, но и с Брашмарлеями букингемширскими, с Уидрингтонами уилтширскими и Хилсбери-Хепуортами хантсфордширскими. Мог ли он отказать даже в самой чудовищной просьбе средоточию столь высоких родственных связей?

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.